

# РОМАН ИМПЕРАТРИЦЫ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

### КНИГА ПЕРВАЯ. ОТ ЩЕЦИНА ДО МОСКВЫ

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ. НЕМЕЦКАЯ КОЛЫБЕЛЬ.— ДЕТСТВО

*И. Место рождения.— Щецин или Дорнбург? — Спорный вопрос об отце.— Фридрих Великий или Бецкий? — Дом принцев Ангальт-Цербстских. II. Рождение Фигхен (Figchen).— Воспитание немецкой принцессы в восемнадцатом столетии.— Мадемуазель Кардель.— Путешествия и впечатления.— Эйтин и Берлин.— Предсказание. III. Русско-немецкое свойство.— Русское влияние в Германии; соперничество немцев в России.— Потомство царя Алексея, привитое к двум германским стволам.— Голишиния или Брауншвейг.— Торжество Елизаветы; Петр Ульрих становится ее наследником.— Русский курьер в Цербсте.*

## I

Лет пятнадцать тому назад маленький уголок старинного немецкого городка был охвачен волнением: предполагалось построить в этой местности железную дорогу, которая, по обыкновению, нарушала укоренившиеся привычки, разрушала старые дома и уничтожала сады, где гуляло несколько поколений подряд. Среди того, чему угрожало бессердечие инженеров, возбуждавшее отчаяние местных жителей, была липа весьма почтенного вида: она служила предметом

специального культа и особенно жгучих сожалений. Все-таки железную дорогу провели. Липу не срубили, но выкопали из уголка земли, где она пустила корни, и пересадили в другое место. С целью оказать ей большой почет ее посадили напротив нового вокзала. Она проявила равнодушие к подобной чести и засохла. Из нее сделали два стола: один преподнесли королеве прусской Елизавете, другой — русской императрице Александре Федоровне. Жители Щецина называли эту липу «императорской» (Kaiserlinde); если верить их словам, она посажена немецкой принцессой, называвшейся тогда Софией Ангальт-Цербстской, а в просторечии Фигхен (Figchen). Принцесса охотно играла на большой городской площади с другими детьми; впоследствии — они так и не поняли, как это случилось,— она превратилась в императрицу всероссийскую, принявшую имя Екатерины Великой.

Екатерина действительно провела часть детства в этом старом померанском городке. Появилась ли она здесь на свет? Редко случалось, чтобы место рождения великих людей современной истории вызывало те же споры, что возникли в прежние времена вокруг колыбели Гомера. Следовательно, происшедшее в этой области относительно Екатерины принадлежит к особенностям ее судьбы. Ни в одной приходской книге в Щецине не сохранилось и следа ее имени. Тот же факт повторился и с принцессой Вюртембергской, супругой Павла I, но ему можно подыскать объяснение: ребенка, вероятно, окрестил священнослужитель лютеранской церкви, ректор или президент, не причисленный к приходу. Однако нашлась заметка, выглядевшая подлинной и основательной и указывавшая на Дорнбург как место рождения и крещения Екатерины; и весьма серьезные историки приводили эти данные в связи с самыми странными предположениями. Дорнбург — родовая резиденция дома Ангальт-Цербст—Дорнбург, именно семьи Екатерины. Не жила ли там ее мать некоторое время около 1729 года и не приходилось ли ей часто встречаться с молодым принцем, которому едва исполнилось шестнадцать лет и он недалеко оттуда вел угрюмую жизнь в обществе своего мрачного отца? Немецкий историк Зугенгейм не побоялся указать на этого молодого принца, известного впоследствии под именем Фридриха Великого, как на «отца инкогнито Екатерины».

Письмо принца Христиана Августа Ангальт-Цербстского, официального отца Екатерины, по-видимому, лишает это смелое предположение всякого правдоподобия. Оно помечено 2 мая 1729 года,

написано в Щецине, и принц объявляет в нем, что в тот же день, в два с половиной часа ночи, у него родилась дочь в этом городе. Эта дочь не может быть иная, чем та, о которой идет речь. Христиан Август не мог не знать, где рождаются его дети, хотя, может быть, и недостаточно осведомлен, каким образом они появлялись на свет. Существуют еще и другие доводы. Ничем не доказано, что Дорнбург принимал в своих стенах мать Екатерины незадолго до рождения последней; скорее, даже вполне достоверно доказано обратное. Принцесса Цербстская, оказывается, провела часть 1728 года очень далеко и от Дорнбурга и от Щецина, а именно в Париже. Как известно, Фридрих никогда не был в Париже. Он даже чуть не поплатился головой за одно желание его посетить, как недавно рассказал историк Лависс со свойственным ему тонким талантом.

Но воображение историков, даже немецких, неиссякаемо. За отсутствием Фридриха в 1728 году в русском посольстве в Париже находился молодой человек, незаконный сын знатной семьи, несомненно посещавший принцессу Ангальт-Цербстскую. Следовательно, мы опять попали на след другого романа и другого предполагаемого отца. Этот молодой человек именовался Бецким и стал впоследствии знатным вельможей. Умер в Петербурге в очень преклонном возрасте; говорят, что, посещая этого старца, которого она окружала заботами и нежным попечением, Екатерина наклонялась над его креслами и целовала его руку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы немецкий переводчик «Воспоминаний» Массона пришел к убеждению, которое мы, однако, не можем разделить. По этой логике, пожалуй, во всей истории восемнадцатого века не окажется ни одного знатного рождения, которое не давало бы пищи аналогичным предположениям.

Мы не станем их больше оспаривать. Женщина, носившая впоследствии имя Екатерины Великой, по-видимому, родилась в Щецине, и ее родители по закону и, насколько нам известно, и по природе были принц Христиан Август Цербст-Дорнбург и принцесса Иоанна Елизавета Голштинская, его законная супруга. Наступило время, как мы увидим, когда малейшее деяние этого ребенка, столь скромно вступившего в мир, отмечалось самыми достоверными числами; жизнь его прослежена день за днем, почти час за часом. Это послужило ей отмщением и вместе с тем мерилем пути, пройденного

ею, яркой ее судьбы.

Но что представляло в 1729 году рождение маленькой принцессы Цербстской? Княжеская семья этого имени — одна из тех, которыми Германия кишела в то время,— являлась одной из восьми ветвей Ангальтского дома. До того времени, как неожиданное счастье озарило его небывалым сиянием, ни одну из них не потревожило эхо славы. Вскоре окончательное пресечение всего рода подрезало эти зачатки известности. Не имев истории до 1729 года, Ангальт-Цербстский дом перестал существовать в 1793 году.

## II

Родители Екатерины не жили в Дорнбурге. Заботы направили их в другое место. Отец ее (родился в 1690 году) вынужден зарабатывать свой хлеб и принужден поступить на службу в прусскую армию. Воевал с Нидерландами, Италией, Померанией, с Швецией и Францией. Тридцати одного года заслужил эполеты генерал-майора; тридцати семи лет женился на принцессе Иоанне Елизавете Голштин-Готторпской, младшей сестре того самого принца Карла, который чуть не сел на российский престол рядом с Елизаветой — в лице его она вечно оплакивала обожаемого жениха. В этом заключалось какое-то предопределение. Христиан Август, назначенный командиром пехотного Ангальт-Цербстского полка, должен отправиться в Щецин, чтобы принять командование. То была настоящая гарнизонная жизнь.

Христиан Август — образцовый супруг и отец. Он очень любил своих детей. Но, ожидая сына, был сильно разочарован, когда родилась Екатерина. Первые детские годы Екатерины омрачены этим. Когда принялись заниматься ее детством (а заинтересовались им впоследствии страстно), воспоминания свидетелей уже значительно потускнели. Сама она неохотно их освежала, отвечая с непривычной ей скрытностью на предлагаемые вопросы. «Я не вижу тут ничего интересного»,— писала она Гримму, самому смелому своему вопрошателю. Впрочем, и ее воспоминания не отличались точностью. «Я родилась,— говорила она, — в доме Грейфенгейма, на Mariekirchenhof». Однако в Щецине нет и никогда не было такого дома. Командир 8-го пехотного полка жил на Dom-Strasse, в доме № 791, принадлежавшем председателю коммерческого суда в Щецине фон Ашерлебену. Квартал, где

находилась эта улица, назывался Грейфенгаген (Greifenhagen). Дом переменил и номер и владельца. Он принадлежит теперь советнику Девицу и помечен номером один. На одной выбеленной стене замечается черное пятно — единственный след, оставленный пребыванием великой императрицы: то следы дыма от жаровни, зажженной 2 мая 1729 года у колыбели Екатерины. Сама колыбель исчезла, она находится в Веймаре.

Названная при крещении Софией Августой Фредерикой, в честь трех своих теток, Екатерина для всех просто Figchen, или Fichchen, как писала ее мать,— по-видимому, уменьшительное от Sophiechen. Вскоре после ее рождения родители переселились в щецинский замок, заняв левое его крыло, находившееся возле церкви. Фигхен отведены три комнаты; из них одна, ее спальня,— рядом с колокольной. Таким образом, ей представилась возможность подготовить свой слух к оглушительному трезвону православных церквей. Может быть, само Провидение это устроило! Там она росла и воспитывалась — весьма просто. Щецинские улицы действительно свидетельницы ее игр с местными детьми, несомненно и не думавшими величать ее по титулу. Когда матери этих детей посещали замок, Фигхен выходила им навстречу и почтительно целовала полы их платья. Таково было желание ее матери, имевшей иногда мудрые мысли. Это, впрочем, случалось с ней нечасто.

Однако у Фигхен много учителей, кроме особой, приставленной к ней гувернантки — конечно, француженки. В то время в каждом более или менее значительном немецком доме служили французские гувернеры и гувернантки — одно из косвенных последствий отмены Нантского эдикта. Преподавали французский язык, французские изысканные манеры и правила вежливости. Учили тому, что сами знали, а знали в большинстве только это. Таким образом у Фигхен появилась мадемуазель Кардель. Кроме того, у нее были французский капеллан Перо (Peraud) и учитель чистописания, тоже француз, Лоран (Laurent). Несколько местных учителей дополняли этот довольно обильный педагогический персонал. Некий Вагнер обучал Фигхен родному языку. Музыкой занимался с ней также немец, Религ (Roellig). Впоследствии Екатерина вспоминала первых воспитателей своей юности с чувством умиленной благодарности, но и с примесью некоторого шаловливого юмора. Она, однако же, отводила особое место мадемуазель Кардель

(«знавшей почти все, хотя сама она никогда не училась, почти как и ее ученица»), говорившей, что у нее «неповоротливый ум», и каждый день напоминавшей, чтобы она опускала подбородок. «Она находила, что он необыкновенно длинен,— рассказывала Екатерина,— и думала, что, вытягивая его вперед, я рискую толкнуть им встречных людей». Добрая мадемуазель Кардель, вероятно, не подозревала, какие встречи выпадут на долю ее ученицы! Однако она не только выправляла ее ум и заставляла опускать подбородок: она давала ей читать Расина, Корнеля и Мольера и отвоевывала ее у немца Вагнера, его немецкой педантичности, его померанской неповоротливости и от нелепости его «Ргьфнген»<sup>[1]</sup>, оставивших по себе ужасное впечатление в душе Екатерины. Несомненно, она сообщила ей и долю своего ума — ума парижанки, сказали бы мы сегодня,— живого, острого и непосредственного. А еще, по-видимому, оказала неоценимую услугу, спасая от матери. Не только от пощечин, расточаемых будущей императрице по каждому самому пустячному поводу, повинуюсь «не разуму, а настроению», а, главное, от духа, присущего супруге Христиана Августа. Она им заражала всех окружающих — мы с ним познакомимся впоследствии. То был дух интриги, лжи, низких инстинктов, мелкого честолюбия, отражавшего целиком душу нескольких поколений германских мелких князьков. В общем, мадемуазель Кардель вполне заслужила меха, присланные ей ученицей по приезду в Петербург.

Важным дополнением к обставленному таким образом воспитанию служили частые путешествия Фигхен и ее родителей. Жизнь в Щецине не представляла ничего привлекательного ни для молодой женщины, жаждавшей веселья, ни для молодого полкового командира, изъездившего пол-Европы. Поэтому предлоги к путешествиям всегда принимались с радостью, а их находилось немало при наличии большой семьи. Ездили в Цербст, Гамбург, Брауншвейг, Эйтин, встречая всюду родных и не роскошное, но в общем радушное гостеприимство. Доезжали и до Берлина. В 1739 году принцесса София впервые увидела в Эйтине того, у кого ей суждено отобрать престол. Петру Ульриху Голштинскому, сыну двоюродного брата ее матери, тогда было одиннадцать лет, а ей — десять.

Эта первая встреча, прошедшая незаметно, не произвела на Фигхен благоприятного впечатления. По крайней мере, так она утверждала

впоследствии в своих воспоминаниях. Он показался ей тщедушным. Ей сообщили, что у него скверный характер и — кажется почти невероятным — он имеет уже пристрастие к спиртным напиткам. Другое путешествие как будто оставило более глубокий след в ее молодом воображении. В 1742 и 1743 годах в Брауншвейге, у вдовствующей герцогини, воспитавшей ее мать, католический каноник, занимавшийся хиромантией, рассмотрел на ее руке три короны и не увидел ни одной на руке хорошенькой принцессы Бевернской, которую в то время старались выгодно выдать замуж. В поисках мужа наткнуться на корону — вот в чем состояла общая мечта всех этих немецких принцесс!

В Берлине Фигхен увидела Фридриха, но он не обратил на нее внимания, а она в свою очередь им не занималась. Он — великий король на пороге великой карьеры, она лишь девочка, по-видимому предназначенная украшать собой микроскопический двор, затерянный в каком-нибудь уголке империи[2].

В общем таковы воспитание и вступление в жизнь всех немецких принцесс того времени. Впоследствии Екатерина не без некоторой рисовки подчеркивала пробелы и недостатки этого воспитания. «Что ж, — говаривала она, — меня воспитывали с тем, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мелкого соседнего принца, и соответственно этому меня и учили всему, что тогда требовалось. Ни я, ни мадемуазель Кардель ничего этого не ожидали». Баронесса Принтен, статс-дама принцессы Цербстской, говорила не обинуясь, что, пристально следя за ходом учения и успехами будущей императрицы, не обнаружила в ней никаких особенных качеств и дарований. Предполагала, что Екатерина будет «заурядной женщиной». Мадемуазель Кардель также не подозревала, по-видимому, что, поправляя тетради своей ученицы, служит, как однажды выразился восторженный Дидро, «подсвечником, носящим свет ее эпохи».

### III

Однако в этой скромной жизни есть нечто, что приближало принцессу Софию к ее будущей судьбе. Она лишь маленькая немецкая принцесса, воспитывавшаяся в маленьком немецком городке, окруженном жалкой, печальной, несчастной действительностью. Но

близкое соседство отбрасывало на него гигантскую тень, похожую на привидение или чарующий мираж. В этой провинции еще незадолго до того по городу расхаживали солдаты, демонстрируя странные мундиры и нарождающийся престиж державы, а недавно Россия появилась в Европе и внушала уже удивление и ужас, возбуждала беспредельные опасения или надежды. В самом Щецине подробности осады, которую недавно пришлось выдержать от великого Белого царя, оставались у всех в памяти. В семье Фигхен Россия, огромная и таинственная Россия, ее бесчисленное войско, неисчерпаемые богатства, самодержавные государи служили постоянной темой домашних разговоров, к которым присоединялась, может быть, и некоторая доля вождедений и даже смутное предчувствие. Почему бы и нет? Вследствие браков, соединивших дочь Петра I с принцем Голштинским, внучку Иоанна, брата Петра, с герцогом Брауншвейгским, целая сеть взаимных нитей и притяжений образовалась между великой северной державой и многочисленным племенем хилых немецких княжеств. Семья Фигхен оказалась особенно втянутой в эту сеть. Когда в 1739 году, в Эйтине, Фигхен встретила своего троюродного брата Петра Ульриха, она узнала, что мать его — русская царица, дочь Петра Великого. Узнала и историю другой дочери Петра Великого, Елизаветы, едва не ставшей невесткой ее матери.

Вдруг разнеслась весть о восшествии на престол этой самой принцессы, печальной невесты принца Карла Августа Голштинского. Девятого декабря 1741 года Елизавета посредством одного из переворотов, становившихся частыми в истории северной дворцовой жизни, положила конец царствованию малолетнего Иоанна Брауншвейгского и регентству его матери. Каков же отклик этого события в семейном кругу, где росла Екатерина! Разлученная жестокою судьбой с избранным ею супругом, новая императрица сохранила трогательное воспоминание не только о молодом принце, но и о всей его семье. Незадолго еще до того она просила прислать портреты братьев покойного принца. Очевидно, не могла забыть и его сестру. В то время мать Фигхен, несомненно, припомнила предсказание каноника-хироманта. Как бы то ни было, она не замедлила написать двоюродной сестре и принести ей свои поздравления. Ответ на них способен поощрить нарождающиеся надежды. Елизавета ответила не только любезно, но и нежно, объявляя себя очень тронутой вниманием, и



просила прислать портрет своей сестры, принцессы Голштинской, матери принца Петра Ульриха. Собираала, по-видимому, коллекцию портретов. Не крылось ли в этом какое-то таинственное указание?

Тайна вдруг раскрылась. В январе 1742 года принц Петр Ульрих — «чертушка», как обыкновенно звала его императрица Анна Иоанновна, которую беспокоило его слишком близкое родство с русским царствующим домом,— маленький троюродный брат, мельком виденный Фигхен, исчез из Киля и появился через несколько недель в Петербурге: Елизавета вызвала его, чтобы объявить своим наследником.

Это событие не оставляло места сомнениям. В России, бесспорно, взяла верх голштинская кровь, кровь матери Фигхен, и восторжествовала она над брауншвейгской кровью. Голштиния или Брауншвейг, потомство Петра Великого или потомство его старшего брата Иоанна, умерших без прямых наследников мужского пола,— вся история русского царствующего дома с 1725 года заключалась в этой дилемме. По-видимому, торжествовала Голштиния, и тотчас же счастье нового императорского принца, едва установившись, начало отражаться на его скромных родственниках в Германии. Лучи его достигли и Щецина. В июле 1742 года отец Фигхен был возведен Фридрихом в чин фельдмаршала — любезность, по-видимому, по адресу Елизаветы и ее племянника. В сентябре секретарь русского посольства в Берлине привез самой принцессе Цербстской портрет государыни, обрамленный великолепными бриллиантами. В конце того же года Фигхен отправилась с матерью в Берлин, где знаменитый французский художник Пэн написал ее портрет. Фигхен знала, что этот портрет отправят в Петербург, где любоваться им будет не одна императрица.

Однако целый год прошел без каких-либо решительных событий. В конце 1743 года вся семья собралась в Цербсте. Вследствие пресечения старшей ветви незадолго перед тем цербстский престол перешел во владение родного брата Христиана Августа. Весело отпраздновали Рождество среди небывалого комфорта и веселых предположений насчет будущего, не говоря уже о более смелых мечтаниях. Не менее весело начали и Новый год — эстафета, прискакавшая во весь опор из Берлина, заставила вскочить со стульев не только порывистую Иоанну Елизавету, но и ее более сдержанного супруга. На этот раз оракулы оказались правы — хиромантия торжествовала блестящую победу: эстафета привезла письмо от Брюммера, гофмейстера великого князя

Петра, бывшего Петра Ульриха Голштинского. Письмо это, адресованное Иоанне Елизавете, приглашало ее немедленно пуститься в дорогу вместе с дочерью, с тем чтобы посетить императорский двор либо в Петербурге, либо в Москве.

## ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРИБЫТИЕ В РОССИЮ.— СВАДЬБА

*I. Выбор будущей императрицы.— Соперничество и интриги.— Роль Фридриха II. II. Отъезд в Россию.— Путешествие.— От Берлина до Риги.— Россия обрисовывается.— Поезд родственницы императрицы.— Императорские сани.— Приезд в Петербург. III. От Петербурга до Москвы.— Прием Елизаветы.— Уверенность в успехе.— Политические предприятия принцессы Цербстской.— Борьба с Бестужевым. IV. Великий князь.— Воспитание кандидата на престол России и Швеции.— Два немецких преподавателя — Брюммер и Штелин.— Дебют Фигхен.— Она учится русскому языку.— Болезнь и выздоровление.— Религиозный вопрос.— Пастор или русский священник? V. Мать Фигхен намеревается управлять Россией.— Непредвиденная опасность.— В Троице-Сергиевой лавре.— Катастрофа.— Отозвание Шетарди.— Торжество Бестужева.— Портрет Елизаветы. VI. Обращение принцессы Софии в православную веру.— Сопроотивление Христиана Августа.— Публичное исповедание.— Обручение.— Екатерина Алексеевна.— Путешествие в Киев.— Мать и дочь.— Жених и невеста.— Болезнь великого князя.— Жизнь в Петербурге.— Граф Гилленбург.— Пятнадцатилетний философ. VII. Свадьба.— Церковные и придворные торжества.— Апартаменты новобрачных.— Морская церемония: «дедушка русского флота».— Отъезд принцессы Цербстской.*

### I

Брюммер — старинный знакомый принцессы Иоанны Елизаветы. Как гувернер великого князя, он, по всей вероятности, сопровождал своего воспитанника в Эйтин. Письмо его пространно и исполнено подробных указаний. Принцессе следует собраться возможно скорее; свита ее, сокращенная до минимума, должна состоять из одной статс-дамы, двух горничных, одного офицера, повара и двоих или троих лакеев. В Риге ее ожидает приличная свита, которая и проводит до места пребывания двора. Мужу строго воспрещено ее сопровождать. Ей надлежит хранить цель своего путешествия в глубокой тайне. На

расспросы следует отвечать: едет к императрице, с тем чтобы поблагодарить ее за оказанные милости. Ей разрешалось, однако, открыться Фридриху II — ему все уже известно. К письму приложен чек на имя одного берлинского банкира, предназначенный на покрытие путевых расходов. Сумма скромная — десять тысяч рублей, но, по словам Брюммера, важно не возбуждать подозрений присылкой более значительного куша. Переступив границу России, принцесса ни в чем нуждаться не будет.

Разумеется, Брюммер посылает это приглашение, похожее на приказание, и властные инструкции от имени императрицы. Впрочем, он не пояснял намерений государыни. Другой человек взял на себя этот труд. Через два часа после приезда первого курьера прискакал второй и привез письмо от прусского короля. Фридрих все объяснял. Впрочем, приписывал себе решение, принятое Елизаветой, остановившей свой взор на молодой принцессе Цербстской. Он в это дело действительно вмешался, и вот каким образом.

Матримониальные вождедения, конечно, не замедлили возгореться вокруг «чертушки», ставшего наследником лучезарной короны. Тут и бывший гувернер великого князя немец Брюммер, и лейб-медик императрицы француз Лесток. Каждое значительное лицо, игравшее определенную роль при дворе, который превосходил по интригам все дворы Европы, имело свою кандидатку и партию, ее поддерживавшую. Заходила поочередно речь о французской и саксонской принцессах, дочери польского короля, о сестре короля прусского. Саксонский проект, поддерживаемый всемогущим канцлером Бестужевым, имел одно время наибольшие шансы на успех.

«Саксонский двор,— писал впоследствии Фридрих,— будучи раболепным слугой России, намеревался пристроить принцессу Марианну, вторую дочь польского короля, с целью усилить свое влияние... Русские министры, настолько алчные, что, кажется, способны торговать самой императрицей, продали преждевременно свадебный контракт: получили щедрые дары, а король польский — лишь слова...»

Принцесса Саксонская, шестнадцати лет от роду, тщательно воспитанная, представляла подходящую партию; к тому же этот брак мог послужить основанием обширной комбинации, имевшей целью, согласно замыслам Бестужева, объединить Россию, Саксонию,

Австрию, Голландию и Англию, то есть три четверти Европы, против Пруссии и Франции. Эта комбинация не удалась, и неудаче ее всеми силами способствовал Фридрих. Однако он отказался расстроить эти планы кандидатурой своей сестры принцессы Ульрики, которая пришлась бы по вкусу Елизавете. «Жестоко,— говорил он,— принести в жертву эту принцессу». На некоторое время он предоставил своего посланника Мардефельда его собственным, довольно ограниченным силам и силам его французского коллеги де ла Шетарди, также не особенно значительным в то время. Мардефельд находился в немилости с некоторых пор, и Елизавета подумывала даже заставить его отозвать. Что касается де ла Шетарди, то, сыграв значительную роль при восшествии на престол новой императрицы, он сделал ошибку и не сохранил за собой завоеванного положения. Он оставил свой пост и, вернувшись на него, не нашел уже прежних привилегий. Впрочем, французское правительство его не поддерживало и заставляло поминутно требовать инструкций. Он даже спрашивал себя: может быть, король все так же настроен против сделанных им после восшествия на престол императрицы намеков на возможность брака великого князя с одной из сестер короля?

Однако Фридрих не дремал. Мысль об отправке в Петербург портрета, написанного Пэном в Берлине, исходила от него. Одному из братьев матери Фигхен, принцу Августу Голштинскому, поручили преподнести его царице. Портрет, по-видимому, неважный — Пэн уже состарился. Однако он пришелся по вкусу императрице и ее племяннику. В решительную минуту, в ноябре 1743 года, Мардефельд получил приказание без колебаний выдвинуть на роль невесты принцессу Цербстскую или, если она не понравится, одну из принцесс Гессен-Дармштадтских. Не пользуясь личным влиянием, прусский агент и его французский коллега решили заручиться помощью двух упомянутых нами лиц, Брюммера и Лестока, и, по свидетельству де ла Шетарди, результатом этого союза стала победа. «Они представили государыне, что принцесса из влиятельного дома не окажется достаточно покладистой... Они также ловко воспользовались некоторыми духовными лицами, чтобы внушить ее величеству, что вследствие незначительного различия между обеими религиями католическая принцесса будет опаснее и в этом смысле». Может быть, орудуя дальше в этом направлении, они подчеркнули и наличие

сговорчивого отца в лице принца Цербстского, который, по словам Шетарди, «был славным малым сам по себе, хотя и необыкновенно ограниченным». Словом, в первых числах декабря Елизавета поручила Брюммеру написать письмо, взволновавшее несколько недель спустя мирный двор, где Екатерина росла под строгим надзором мадемуазель Кардель.

## II

Сборы принцессы Елизаветы и ее дочери своею поспешностью удовлетворили бы Брюммера. Никто и не думал о составлении приданого для Фигхен. «Два или три платья, дюжина сорочек, столько же чулок и носовых платков» — вот все, что она взяла из родительского дома. Раз обещано, что в России ни в чем недостатка не будет, к чему тратиться? Впрочем, и времени на то нет. Фридрих и Брюммер слали письмо за письмом, настаивая на скором отъезде. Между тем торопить принцессу Иоанну Елизавету незачем. «Ей недостает только крыльев, чтобы скорее лететь», — писал Брюммер Елизавете. Впрочем, по видимому, принцесса и не намеревалась окружать особенным блеском первое появление своей дочери в России. Перечитывая ее переписку с Фридрихом в ту минуту, удивляешься, как мало внимания она уделяла будущей великой княгине. Возникает вопрос: действительно ли речь идет о свадьбе Фигхен и предпринимаемое путешествие в Россию имеет ли в самом деле эту цель? Можно усомниться. Иоанна Елизавета едва даже намекает на это. Главным образом думает о себе, о возникающих в голове великих планах, которые она намеревается развернуть на достойной ее умения арене, об услугах, которые собирается оказать своему державному покровителю и за которые, как будто загодя, требует достойного вознаграждения. В этом смысле намеревалась она действовать и в Петербурге и в Москве.

Знала ли Фигхен, о чем шла речь и в каких целях, добрых или дурных, ей приказывали укладываться? Этот пункт спорный. Несомненно, догадывалась, что путешествие не простая экскурсия, подобно предпринятым ранее в Гамбург или Эйтин. Продолжительность и горячность споров между отцом и матерью перед отъездом, необычайная торжественность проводов и прощание дяди, принца Иоанна Людвига, даже небывало роскошный подарок

(великолепная голубая материя, затканная серебром), которым он сопроводил последние свои излияния,— все это предвещало необыкновенные события.

Отъезд состоялся 10 или 12 января 1744 года, без каких-либо инцидентов. В ратуше в Цербсте до сих пор еще показывают чашу, из которой будто бы принцесса Иоанна Елизавета пила за здоровье именитых граждан, торжественно собравшихся, чтобы пожелать ей счастливого пути. Вероятно, это лишь легенда. Однако в минуту отъезда случилось одно происшествие. Нежно поцеловав дочь, принц Христиан Август вручил ей толстую книгу, с просьбой тщательно беречь и добавив с таинственным видом, что ей вскоре придется к этой книге прибегнуть. Одновременно передал и жене рукопись, с тем чтобы отдала ее дочери, после того как сама прочтет и тщательно обдумает содержание. Книга эта — трактат Гейнекция о греческой религии. Рукопись, плод ночных размышлений Христиана Августа, озаглавлена «Pro temotia»; он пытался выяснить в ней вопрос: может ли Фигхен каким-нибудь образом стать великой княгиней, не меняя религии? Это главная забота Христиана Августа и предмет супружеских споров, привлечших внимание Фигхен и сопровождавших приготовления к отъезду. Христиан Август оказался непоколебимым в этом вопросе, меж тем как Иоанна Елизавета гораздо более склонна признать необходимость, нераздельную с новой судьбой дочери. Почему-то отец Фигхен пожелал лично дать дочери оружие против искушений, оскорблявших его. Труд Гейнекция и долженствовал служить этой цели.

То была тяжелая крепостная артиллерия. «Pro temotia» заключала соображения и советы другого порядка, в которых отражались практический ум, свойственный самым возвышенным немецким душам, и мелочные привычки двора, подобного цербстскому или щецинскому. Она советовала будущей великой княгине оказывать крайнее уважение и беспрекословное повиновение тем, от кого зависела отныне ее судьба; превыше всего ставить желания супруга; избегать слишком интимного сближения с кем бы то ни было из окружающих лиц. В приемных залах не разговаривать ни с кем в отдельности. Беречь свои карманные деньги, дабы не подпасть под власть гофмейстерины. Наконец, в особенности не вмешиваться в дела управления. Все это изложено на жаргоне, представляющем любопытный образчик обычного языка эпохи, того немецкого языка, который Фридрих презирал не без

причины, судя по следующему отрывку: «Nicht in familiarité oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen égard sich conserviren. In keine Regie-rungssachen zu entriren, um den Senat nicht aigriren». И так далее.

Два месяца спустя Фигхен горячо благодарила отца за эти «милостивые советы». Увидим дальше, как она ими воспользовалась.

В Берлине, где обе принцессы остановились на несколько дней, будущая императрица последний раз в жизни увидела Фридриха Великого. В Шведте-на-Одере она распрощалась навеки с отцом, сопровождавшим их до этого города. Он вернулся в Щецин, а Иоанна Елизавета направилась через Штаргарт и Мемель в Ригу. Путешествие, в особенности в то время года, не представляло ничего приятного. Снег не шел, но острый холод заставлял обеих женщин закрывать лица маской. Не было комфортабельных пристанищ для отдыха. Приказания Фридриха, отрекомендовавшего графиню Рейнбек — принцесса путешествовала под этим именем — прусским почтмейстерам и бургомистрам, не могли ничего изменить к лучшему. «Так как комнаты в почтовых домах не отапливались, то приходилось ютиться в комнате самого почтмейстера, ничем не отличавшейся от свиного хлева: муж, жена, сторожевой пес, куры, дети спали вповалку в колыбелях, в кроватях, за печами, на матрацах». После Мемеля — еще хуже. Не встречалось даже почтовых дворов. Приходилось обращаться к крестьянам, чтобы достать лошадей, а их надо двадцать четыре для четырех тяжелых дорожных карет, везших принцесс и свиту. К каретам в предвидении снега, который мог явиться по мере движения на север, привязаны сани. Внешний вид поезда представлял, таким образом, живописное зрелище, зато затруднялось его движение. Двигались медленно. Фигхен успела даже расстроить себе желудок местным пивом.

В Митаву приехали 5 февраля в совершенном изнеможении. Там их встретили лучше, и гордость Иоанны Елизаветы, тайно уязвленная вынужденной близостью к почтмейстерам, впервые получила удовлетворение. В Митаве русский гарнизон, и командир, полковник Воейков, постарался принять как можно лучше столь близкую родственницу государыни. На следующий день уже приехали в Ригу.

Сцена внезапно переменилась, будто в феерии. Письма принцессы к мужу дают восторженные описания этого неожиданного превращения: гражданские и военные власти, с вице-губернатором князем



Долгоруковым во главе, встретили ее у въезда в город; другой вельможа, Семен Кириллович Нарышкин, бывший послом в Лондоне, привез парадную карету; по дороге во дворец гремели пушки и т. д. И какая роскошь в замке, уготованном для приема дальних гостей! Великолепно меблированные комнаты, часовые у всех дверей, курьеры на всех лестницах, барабанный бой во дворе. Ярко освещенные залы полны народу; придворный этикет, целование рук и низкие реверансы; обилие великолепных мундиров, чудных нарядов, ослепительных бриллиантов; бархат, шелк, золото, невероятная, невиданная дотоле роскошь кругом... Иоанна Елизавета чувствует, что голова ее кружится, все это кажется сном.

«Когда я иду обедать,— пишет она,— раздаются звуки трубы; барабаны, флейты, гобои наружной стражи оглашают воздух своими звуками. Мне все кажется, что я нахожусь в свите ее императорского величества или какой-нибудь великой государыни; я не могу освоиться с мыслью, что это для меня, для которой в иных местах едва бьют в барабаны, а в иных местах и этого не делают». Однако она охотно все принимает и всей душой наслаждается. Что касается Фигхен, нам неизвестно, какое впечатление произвела на нее картина могущества и роскоши, внезапно раскинувшаяся перед ней. Но, несомненно, оно глубокое. Россия, великая, таинственная Россия, являлась ей и заставляла предвкушать будущее великолепие.

Девятого февраля снова пустились в путь. Поехали в Петербург, где по желанию государыни им следовало остановиться на несколько дней, а затем уже ехать к ней в Москву. Принцессы должны были воспользоваться пребыванием в столице, чтобы приспособить свои туалеты к общепринятой моде. Со стороны Елизаветы это деликатный прием, чтобы исправить угаданные или сообщенные заранее недостатки в гардеробе Фигхен. Несомненно, будущая великая княгиня, со своими тремя платьями и дюжиной сорочек, играла бы плачевную роль при дворе, являвшемся средоточием роскоши. Сама государыня имела пятнадцать тысяч шелковых платьев и пять тысяч пар башмаков! Екатерина безбоязненно вспоминала впоследствии о бедности, сопровождавшей ее в новое отечество. В то время она полагала, что уже уплатила свой долг.

Само собой разумеется, что в Митаве остались тяжелые немецкие дорожные кареты. Другой поезд должен везти обеих путешественниц по

дороге к новому счастью. Принцесса Цербтская описывает его следующим образом: «1 — отряд лейб-кирасир его императорского высочества, именуемый голштинскими полками, под командой поручика; 2 — камергер князь Нарышкин; 3 — шталмейстер; 4 — офицер лейб-гвардии Измайловского полка; 5 — метрдотель; 6 — кондитер; 7 — не знаю уже, сколько поваров и их помощников; 8 — ключник и его помощники; 9 — человек для кофе; 10 — восемь лакеев; 11 — два гренадера лейб-гвардии Измайловского полка; 12 — два фурьера; 13 — не знаю, сколько саней и конюхов... Среди саней есть сани, которыми пользуется ее императорское величество, так называемые *les linges* (sic!)[3]. Они ярко-красные, украшены серебром, опушены внутри куньим мехом. Устланы шелковыми матрасами и такими же одеялами, поверх них лежит одеяло, присланное мне вместе с шубами,— подарок императрицы, привезенный Нарышкиным. Я буду лежать в этих санях во весь рост вместе с дочерью. У мадам Кайн (статс-дама принцессы) менее красивые сани, она едет совсем одна». Далее Иоанна Елизавета еще более восторгается совершенствами чудесных императорских саней: «Они по форме очень длинные; верх напоминает верх наших немецких экипажей. Обиты красным сукном с серебряными галунами. Низ устлан мехом; на него положены матрасы, перины и шелковые подушки; а сверх всего этого разостлано очень чистое атласное одеяло, на которое и ложишься. Под голову кладут еще другие подушки, а покрываются подбитым мехом одеялом; таким образом, оказываешься совсем как в постели. Кроме того, длинное расстояние между кучером и задком служит еще и для других целей и полезно в том отношении, что по каким бы ухабам мы ни ехали, не чувствуется вовсе толчков; дно саней представляет ряд сундуков, куда кладешь что угодно. Днем на них сидят лица свиты, а ночью люди могут лечь на них во весь рост. Они запряжены шестью лошадьми парами, опрокинуться они не могут... Все это придумано Петром Великим».

Елизаветы не было в Петербурге с 21 января. Все же в столице находилось еще много лиц, принадлежавших ко двору, и часть дипломатического корпуса. В то время путешествие в Москву представляло целое событие. Приходилось брать в дорогу не только людей, но и часть мебели. Отъезд государыни перемещал до ста тысяч человек и целый квартал города. Впрочем, французский и прусский

посланники не позволили никому опередить их у обеих принцесс — оба поспешно отправились к ним. Таким образом, принцесса Цербтская оказалась окруженной атмосферой искательства, почтения, чрезмерной лести, в которой уже проглядывали интриги и страстное соперничество. Она оказалась в своей стихии и сладострастно погрузилась в нее, делая приемы, давая аудиенции с утра до вечера, приглашая «на партию» выдающихся знатных людей и приучаясь к более сложной игре в политику. Через неделю она сильно утомилась. Дочь оказалась выносливее. «Figchen southenirt die Fatige besser, als ich»<sup>[4]</sup>, — писала принцесса мужу. Добавляла и следующую черточку, где проглядывает уже характер будущей Семирамиды: «Величие всего окружающего поддерживает мужество Фигхен».

Величие! Действительно, эта черта как будто сильнее всего занимает ум пятнадцатилетней девочки в минуты, когда перед ней раскрывается тайна ожидающей ее судьбы. Позднее, находясь на вершине своей удивительной карьеры, она сохранила как бы следы ослепления и опьянения горизонтами, развернувшимися перед ней в то время. Вместе с тем она узнает, из чего соткано это величие и как оно достигается. Ей показывают казармы, из которых Елизавета отправилась завоевывать престол; она видит и суровых гренадеров Преображенского полка, сопровождавших государыню в ночь 5 декабря 1741 года. Эти наглядные уроки запечатлеваются в ее пытливом уме.

В уме ее матери, однако, к упоению настоящей минуты иногда примешивается и некоторая тревога. Сквозь расточаемые ей комплименты и похвалы до ее ушей доходят некоторые сдержанные предупреждения и скрытые угрозы. Всемогущий Бестужев все еще противится предполагаемому браку и не складывает оружия. Он рассчитывает на епископа Новгородского Амвросия Юшкевича, оскорбленного слишком близким родством между великим князем и принцессой Софией и, по слухам, подкупленного саксонским двором (тысяча рублей).

Влияние его значительное. Но Иоанна Елизавета мужественна. Две причины, стоящие аргументов всех ее противников, поддерживают самоуверенность и веру в успех: во-первых, необыкновенное легкомыслие характера, вследствие чего она сама называет себя «игривым духом», и мнение о себе, о своих способностях к интриге и умении преодолевать самые большие препятствия. В чем, собственно,

дело? В победе над оппозицией недоброжелательного министра. К тому имелось средство, о котором говорено ею с Фридрихом при проезде через Берлин; оно состояло в том, чтобы устранить оппозицию, удалив самого министра,— «свергнуть Бестужева». Фридрих давно уже подумывал об этом. Что ж, она свергнет Бестужева, как только приедет в Москву! Брюммер и Лесток ей в этом помогут.

### III

Это путешествие ничем не походило на путешествие из Берлина в Ригу. Почтовые дворы по дороге напоминают скорее дворцы. Сани летят по твердому снегу. Едут день и ночь, чтобы приехать в Москву 9 февраля, к дню рождения великого князя. На последней заставе, в семидесяти верстах от Москвы, в знаменитые сани, придуманные Петром Великим, впрягают шестнадцать лошадей и за три часа сжигают это пространство. Головокружительный бег, однако, чуть не прерван несчастным случаем: проезжая одну деревню во весь дух, тяжелые сани, везомые шестнадцатью лошадьми и еще раз везущие счастье России, ударяются об угол избы. От толчка два толстых деревянных бруса отрываются от покато́й крыши и, скатившись с нее, чуть не убивают обеих принцесс. Один из них ударяет Иоанну Елизавету по груди, но шуба, в которую она закутана, ослабляет удар. Дочь ее даже не проснулась. Два гренадера Преображенского полка, сидевшие на козлах, лежат в снегу с окровавленными головами и поломанными членами. Жителям села предоставляют их поднять, стегают лошадей и в восемь часов вечера останавливаются у деревянного Головинского дворца, обитаемого государыней.

Елизавета, снедаемая нетерпением, встала за двойными шпалерами придворных, выстроившихся для встречи прибывших гостей. Ее племянник, еще более нетерпеливый, нарушает этикет и спешит в их апартаменты, где, не дав принцессам даже снять шубы, приветствует их самым нежным образом (*auf tendreste*). Вскоре они являются императрице, свидание проходит самым лучшим образом. Оно даже оттенено ноткой умиления, являющейся счастливым предзнаменованием. Внимательно взглядевшись в мать будущей великой княгини, императрица поворачивается и поспешно выходит. Оказывается, она хочет скрыть слезы, так как черты лица принцессы

напомнили ей ее неутешную скорбь. Впрочем, принцесса, следуя совету Брюммера, не преминула поцеловать руку императрицы, а Елизавета чувствительна к знакам чрезвычайного почтения.

На следующий день Фигхен и ее мать одновременно производятся в кавалерственные дамы ордена святой Екатерины — по просьбе великого князя, как уверяет их Елизавета. «Моя дочь и я живем как королевы», — пишет принцесса Цербстская мужу. Что касается всемогущего Бестужева — судьба его решена. Принцессе не приходится даже организовывать заговора для его свержения, так как он уже готов: перемена в судьбе Петра Ульриха привлекла в Россию партию Франции и партию Пруссии, поддерживаемую голштинцами. По-видимому, всеми ими управляет Лесток, выдвигая вперед, в виде оппозиции Бестужеву, графа Михаила Воронцова, принимавшего участие в восшествии на престол Елизаветы. Здесь не место для характеристики министра, одного из самых замечательных дипломатических кондотьеров той эпохи, служившего многим лицам, перед тем как предложить окончательно свои услуги России. Сознает ли мать Фигхен значение затеянной ею борьбы и могущество соперника? Вряд ли. Она твердо помнит, что Фридрих обещал дать ее младшей сестре Кведлинбургское аббатство в случае успеха затеи, и намерена получить свое аббатство. Падение Бестужева, согласно планам Фридриха, сигнал к перемещению фигур на политической шахматной доске; следствие его — сближение между Россией, Пруссией и Швецией. Как прославилась бы принцесса Цербстская, если бы ей удалось пристегнуть свое имя к подобному событию! Она чувствует, что это ей по плечу. Она — женщина и приехала из Цербста: в этом заключается ее оправдание. Ей все кажется, что она имеет дело с мелкими интригами и жалкими политическими комбинациями, с которыми была знакома в Цербсте; в этом и состояла ее великая ошибка вплоть до того дня, когда перед ее прозревшими глазами предстала необъятность бездны, на край которой она бессознательно ступила. О браке своей дочери она более и не заботится. «Это дело сделано, — пишет она своему мужу. — Фигхен всем понравилась. Государыня ее ласкает, наследник любит ее». Что же между тем говорит сердце невесты? Воспоминание о первой встрече в Эйтине с щедушным «кильским ребенком» уступило ли теперь место более благоприятным впечатлениям? Мать Фигхен и не заботится об этом. Петр — великий князь, он будет когда-нибудь императором.

Сердце ее дочери было бы сделано из другого теста, чем сердца всех немецких настоящих и прежних принцесс, если бы не удовлетворилось обещаниями счастья, данными в такой форме. Посмотрим, однако, что стало с хилым ребенком после неожиданной перемены, привнесенной в его судьбу!

## IV

Петр родился в Киле 10 февраля 1728 года. В этот день голштинский министр Бассевиц писал в Петербург, что царица Анна Петровна родила здорового и крепкого мальчика. Под его пером лишь придворная лесть. Ребенок не был крепким и никогда им не стал. Мать умерла от чахотки три месяца спустя. Слабое здоровье и стало причиной его неудовлетворительного воспитания. До семи лет он оставался на руках у нянек — как в Щецине, так и в Киле это француженки. У него и учитель французского языка — Милле. В семь лет его резко заставили подчиняться дисциплине офицеров голштинской гвардии. Не став еще мужчиной, он уже делается солдатом — казарменным, кордегардии и плац-парада. Вследствие этого приобретает пристрастие к военному ремеслу, но к низменной его стороне — грубости, мелочности и вульгарности. Участвует в учениях, несет караульную службу. В 1737 году, девяти лет, он уже сержант и по обязанностям службы стоит с обнаженным оружием у двери залы, где отец его роскошно пирует с офицерами. По мере того как перед его глазами проносятся вкусные блюда, слезы ручьями текут по щекам ребенка. Вступив на престол, Петр называл это воспоминание лучшим в своей жизни.

В 1739 году, после смерти отца, наступает другой режим: появляется главный воспитатель, руководящий несколькими другими, это знакомый уже нам голштинец Брюммер. Рюльер восхваляет этого человека, «обладающего редкими достоинствами», и находит, что единственная его ошибка — «воспитал молодого принца по самым высоким образцам, соображаясь скорее с его судьбой, чем с его умом». Другие показания касательно этого лица не столь для него благоприятны. Француз Милле утверждал, что он «годен воспитывать лошадей, а не принцев». Грубо обращался со своим воспитанником, подвергая его неразумным наказаниям, не соответствовавшим хрупкому телосложению; например, оставлял без пищи или подвергал мукам

долгого стояния на коленях на сухом горохе, рассыпанном по полу. Вследствие того что маленький принц, «чертушка», упорно продолжавший жить наперекор императрице Анне, был одновременно кандидатом и на шведский и на русский престолы, его попеременно обучали то русскому, то шведскому языку сообразно планам данного момента. В результате он не знал ни того, ни другого. Когда в 1742 году он приехал в Петербург, Елизавета удивилась его отсталости. Она поручила его Штелину. Это саксонец, переселившийся в Россию в 1735 году, профессор элоквенции, поэзии, философии Готтшедта, логики Вольфа и еще многих других предметов. Кроме своей профессорской учености, обладал еще и множеством талантов: писал стихи по поводу придворных торжеств, переводил итальянские оперы для театра ее величества, составлял рисунки для медалей в память побед, одержанных над татарами, управлял хорами императорской капеллы, сочинял эмблемы для фейерверков и т. п.

Легко себе представить, каково было воспитание Петра с учетом вышеупомянутых обстоятельств! Брюммер остался при нем в качестве гофмаршала и, по свидетельству Штелина, стал еще грубее. Однажды потребовалось его вмешательство, чтобы предотвратить насилие над великим князем, так как голштинiec бросился на него с поднятыми кулаками, а Петр, полумертвый от страха, стал звать на помощь гренадеров гвардии, стоявших на часах.

Под влиянием подобного режима характер будущего супруга Екатерины приобрел уродливые и порочные свойства: он стал одновременно несдержан и хитер, труслив и хвастлив. Он удивлял чистосердечную Фигхен своей ложью, как удивлял впоследствии весь мир трусостью. Однажды захотел повергнуть Фигхен в изумление рассказами о своих подвигах во время войны с датчанами. Она наивно спросила, когда это было. «За три или четыре года до смерти моего отца». — «Значит, вам не было еще и семи лет!» Он очень рассердился.

Вместе с тем он оставался тщедушным, непривлекательным как в физическом, так и в нравственном отношении и обладал странной, беспокойной душой, заключенной в узком, малокровном и преждевременно истощенном теле. Фигхен, несомненно, ошиблась бы, если бы рассчитывала на его привязанность для упрочения своего положения в России, как эта привязанность ни казалась искренней Иоанне Елизавете. Был ли вообще способен любить этот молодой

человек столь печального образа?

К счастью для себя, Екатерина могла с самого начала полагаться помимо всякой другой поддержки на свои собственные силы. Ее рассказы об этой эпохе своей жизни показались бы почти невероятными, если бы мы не имели возможности проверить искренность ее повествования. Ей едва исполнилось пятнадцать лет, но уже мы замечаем в ней верный и проницательный взгляд, меткость суждений, изумительную способность схватывать суть и необыкновенное здравомыслие, составлявшие впоследствии часть ее гения, а может быть, даже весь ее гений. Прежде всего она поняла: чтобы остаться в России, иметь в ней значение и — как знать? — играть важную роль, следует стать русской. Ее троюродный брат Петр, без сомнения, и не помышлял об этом. Но она быстро отдает себе отчет в неловкости и тайном недовольстве, возбуждаемом его голштинским жаргоном и немецкими манерами.

Она встает ночью, чтобы повторять уроки учителя русского языка Ададунова. Она не дает себе труда одеться и ходит босиком по комнате, чтобы не заснуть, и простужается. Вскоре жизнь ее оказывается в опасности.

«Молодая принцесса Цербстская,— пишет Шетарди 26 марта 1744 года,— заболела воспалением легких». Саксонская партия поднимает голову. Согласно свидетельству французского дипломата, вожди ее жестоко ошибаются, так как Елизавета не намерена, что бы ни случилось, дать им воспользоваться событиями. «Она говорила третьего дня Брюммеру и Лестоку, что они тем ничего не выиграют, а ежели б она такое дражайшее дитя потерять несчастье имела, то она дьяволом клялася, что саксонской принцессы, однако ж, никогда не возьмет». Впрочем, Шетарди пишет: «Брюммер мне в конфиденции открыл, что в случае бедственной крайности, которой опасаться и предусматривать надлежит, он пути приуготовил и что молодая принцесса д'Армштадтская (sic), прекрасная собою и которую король прусский представлял, в случае, когда б принцесса Цербстская успеха не получила,— всем другим принцессам предпочтена была б. Однако ж прибежище к такому способу не потеряли, в рассуждении того мнения и удостоверения, которые принцессы Цербстские, мать и дочь, обо мне имеют, что я в будущем их благополучию, которое им приуготовляется, вспомоществовал».



В то время как вокруг нее пробуждается честолюбивое соперничество, принцесса София борется со смертью. Доктора предписывают кровопускание. Ее мать этому противится. Дело передается на обсуждение императрицы; но она находится в Троицкой лавре, погруженная в молитвы, которым предается страстно, хотя и порывами, влагая страсть во все свои поступки. Проходит пять дней; больная все ждет. Наконец Елизавета приезжает в сопровождении Лестока и приказывает пустить кровь. Бедная Фигхен теряет сознание. Придя в себя, она видит себя в объятиях императрицы. Чтобы вознаградить ее за то, что дала уколоть себя ланцетом, императрица дарит ей бриллиантовое ожерелье и серьги ценой двадцать тысяч рублей, по оценке принцессы Иоанны Елизаветы. Сам Петр обнаруживает щедрость и преподносит ей часы, осыпанные бриллиантами и рубинами. Однако ни бриллианты, ни рубины не властны над лихорадкой. В течение двадцати семи дней больной пускают кровь шестнадцать раз, иногда по четыре раза в сутки. Наконец молодость и крепкий организм Фигхен одерживают верх и над болезнью, и над лечением. Оказалось даже, что этот долгий и болезненный кризис имел на ее судьбу решительное и особенно счастливое влияние. Во-первых, насколько мать ее умудрилась опротивить всем, вечно препираясь с докторами, ссорясь с окружающими и со своей дочерью, которую мучила, невзирая на ее страдания, настолько Екатерина сумела, несмотря на свое положение, завоевать все сердца и привлечь все симпатии. В это время разыгралась история с материей — знаменитой голубой тканью, подаренной ее дядей Людвигом. Иоанна Елизавета почему-то вздумала отнять ее у бедной Фигхен. Можно себе представить, какой шум поднялся вокруг больной по случаю этого пустого инцидента: хор упреков по адресу бесчувственной, жестокосердой матери — хор симпатий в пользу дочери, жертвы столь недостойного обращения. Фигхен уступила материю и ничего от этого не потеряла. Она торжествовала, впрочем, и другие победы. Ее болезнь сама по себе делала ее привлекательной в глазах русских. Все знали, каким образом она ее схватила. Образ молодой девушки, босиком изучающей по ночам созвучия славянского языка, невзирая на суровую зиму, пленял воображение и становился легендарным. Вскоре стало известно, что, когда она была очень плоха, мать ее хотела позвать протестантского пастора. «Это зачем? — сказала

она.— Позовите лучше Симеона Тодорского». Симеон Тодорский — православный священник, которому поручили религиозное воспитание великого князя; и ему предстояло приняться и за религиозное воспитание великой княгини.

Каковы в данную минуту чувства принцессы Софии относительно этого щекотливого вопроса? Трудно высказать о них правильное суждение. Некоторые признаки указывают на то, что труд Гейнекция и советы, изложенные в «Pro memoria» Христиана Августа, произвели на нее довольно глубокое впечатление. «Я молю Бога,— писала она отцу еще из Кенигсберга,— чтобы он даровал моей душе силы, необходимые для того, чтобы выдержать искушения, которым я, по-видимому, буду подвергнута. Он дарует мне эту милость молитвами вашего высочества и дорогой мамы». Со своей стороны, Мардефельд озабочен. «Меня сильно смущает лишь одно обстоятельство,— пишет он,— а именно: мать думает или делает вид, что думает, что молодой красавице нельзя будет перейти в православную веру».

Он рассказывает еще, что как-то раз пришлось призвать протестантского пастора, с тем чтобы он успокоил ее сердце, встревоженное уроками православного священника. Вот, однако, какое мнение составила себе впоследствии Екатерина, опираясь на личный опыт, о трудностях, с которыми сопряжен переход в лоно православной церкви немецкой принцессы, воспитанной в лютеранстве, о количестве времени, требуемом для одоления их, и о ходе разрешенной подобным образом нравственной задачи. В письме к Гримму от 18 августа 1776 года она выражается следующим образом о принцессе Вюртембергской, выбранной ею для своего сына Павла: «Как только мы ее получим, мы приступим к ее обращению. На это потребуется, пожалуй, дней пятнадцать... Чтобы ускорить дело, Пастухов отправился в Мемель, где выучит ее азбуке и исповеданию веры по-русски: убеждение придет после».

...Как бы то ни было, но отказ от лютеранского пастора — отречение от верований детства, исходящее из уст умирающей будущей великой княгини и призыв Тодорского, то есть исповедание православной веры,— нашли сочувственный отклик в России. С этого времени положение Фигхен обеспечено. Что бы ни случилось, она отныне уверена, что найдет приют в сердце наивного и глубоко религиозного народа, желающего доказать ей свою благосклонность.

Узы, связавшие маленькую немецкую принцессу с великим славянским народом, на языке которого она только начинала лепетать, договор, в продолжение почти полу столетия соединявший их в одной славной судьбе и расторгнутый лишь смертью,— эти узы, этот договор образовались с той минуты.

20 апреля 1744 года принцесса София впервые после болезни появляется на публике. Она еще так бледна, что императрица посылает ей банку румян, но она все-таки привлекает все взоры и чувствует, что взоры эти большею частью благожелательны. Она уже нравится и привлекает к себе. Она сияет и согревает ледяную атмосферу двора, которому впоследствии сумеет придать столько блеска. Даже Петр становится любезнее и доверчивее. Увы, его любезность и доверчивость совершенно особого свойства: он рассказывает будущей супруге историю своей любви к одной из фрейлин императрицы, Лопухиной, мать которой недавно сослана в Сибирь. Фрейлине пришлось одновременно покинуть двор. Петр хотел на ней жениться, но подчинился воле императрицы. Фигхен краснеет и, не теряя самообладания, благодарит великого князя за честь, оказываемую ей тем, что делает ее поверенной своих тайн. Таким образом, выясняется, какая будущность ожидает эти два столь различных существа.

## V

Тем временем принцесса Иоанна Елизавета полностью погрузилась в свои политические предприятия. Она сошлась с семьей Трубецких и даже с Бецким, проявлявшим уже свой беспокойный нрав. В ее салоне собираются все противники настоящей политической «системы», все враги Бестужева: Лесток, Шетарди, Мардефельд, Брюммер. Она интригует, замышляет, шепчется. Она смело идет вперед со свойственной нервным женщинам страстностью и присущим ей легкомыслием; ей кажется, что в ее руках успех и Кведлинбургское аббатство. В воображении она уже принимает поздравления Фридриха и входит в роль посланника при великом северном дворе, ставшем его лучшим и ценнейшим союзником. Она не видит разверзающейся у ее ног пропасти.

1 июня 1744 года Елизавета снова отправляется в Троицкую лавру. Путешествие совершается со всей пышностью торжественного

богомолья; императрицу сопровождает половина двора, а сама она идет пешком. Вступая на престол, она дала обет совершать это богомолье каждый раз, как будет приезжать в Москву, в память того, что Петр I нашел в древней обители убежище во время стрелецкого бунта. Принцесса София, будучи еще слишком слабой, не могла сопровождать императрицу, и мать осталась с ней. Однако через три дня является курьер с письмами от Елизаветы, повелевающей обеим принцессам присоединиться к императорскому шествию, дабы присутствовать при торжественном въезде императрицы в Троицкую лавру. Не успели они расположиться в келье, куда пришел и великий князь, как является императрица в сопровождении Лестока. Она, в большом волнении, приказывает принцессе Иоанне Елизавете следовать за ней в соседнюю комнату. За ними идет и Лесток. Свидание длится долго, но Фигхен не тревожится этим, так как поглощена вздорной, по обыкновению, болтовней Петра. Мало-помалу молодость и живость ее ума одерживают верх над чувством неловкости, внушаемым ей обыкновенно присутствием великого князя, и они весело разговаривают и смеются. Вдруг возвращается Лесток. «Ваша радость скоро кончится!» — сказал он резко; затем, обращаясь к принцессе Софии, он прибавил: «Вам остается только укладываться». Фигхен немеет от изумления, а великий князь спрашивает, что это значит. «Сами скоро увидите», — отвечает Лесток.

«Я ясно видела, — пишет Екатерина в своих „Записках...“, — что он (великий князь) расстался бы со мной без сожаления. Ввиду его отношения ко мне я была к нему почти совсем равнодушна, но я не была равнодушна к российской короне». Могла ли действительно эта пятнадцатилетняя девочка думать уже о короне? Почему же нет? Она писала свои «Записки...» через сорок лет, если предположить, что она их писала в том виде, в каком они до нас дошли, — и неизбежно преувеличивала свои детские впечатления. «Сердце мое, — говорит она дальше, вспоминая ту же пору своей жизни, — не предвещало мне ничего доброго; меня поддерживало лишь честолюбие. В глубине моего сердца всегда таилось нечто, что не позволяло мне сомневаться в том, что мне удастся сделаться императрицей всероссийской по собственному своему почину». Здесь преувеличение очевидно, и добавление *a posteriori* бросается в глаза. Но престол, разделенный с Петром, мог, пожалуй, казаться заманчивым ее детскому воображению;

случалось ведь, что и более отдаленные «надежды» фигурировали в брачном приданом, и даже в настоящее время пятнадцатилетние невесты прекрасно умеют их учитывать.

Вслед за Лестоком появляется императрица, очень красная, а за нею — принцесса Иоанна Елизавета, очень взволнованная и с заплаканными глазами. При виде государыни молодые люди, сидевшие на подоконнике и болтающие ногами, поспешно соскакивают на пол. Эта картина как будто обезоруживает императрицу. Она улыбается, подходит к ним, целует их и выходит, не вымолвив ни слова. Тут тайна раскрывается. Уже больше месяца принцесса Цербстская, не подозревая того, ходила по mine, вырытой под ее ногами врагом, которого она думала одолеть без труда. И вот мина взорвалась.

Маркиз де ла Шетарди вернулся в Россию с репутацией самого блестящего дипломата того времени, опиравшейся на роль, сыгранную им в России. Ему было двадцать шесть лет. Он был высок, строен, красивой, аристократической наружности и, казалось, предназначен занять высокое положение при дворе, где все решения зависели от фавора, где прежде всего и главным образом надо нравиться и где, как говорят, он раньше уже успел понравиться. Он составил себе очень ловкий план, пожалуй, даже слишком ловкий; ему не без труда удалось заставить версальский двор принять его. План заключался в том, чтобы поставить падение Бестужева, то есть отречение от австрийской политики, защищаемой им, условием уступки, давно уже обсуждаемой обоими дворами, чрезвычайно желаемой Елизаветой и упорно отвергаемой Францией. Дело шло о титуле императорского величества, молчаливо признаваемом за преемниками Петра Великого, но еще не зарегистрированном и потому отсутствовавшем в официальных бумагах, исходивших из канцелярии наихристианнейшего короля.

Шетарди добился того, что в его верительные грамоты был внесен желанный титул. Он оставил их у себя, с тем чтобы отдать преемнику Бестужева — после падения последнего. Это стало известно Елизавете, а вскоре и всему двору. До тех пор французский дипломат, опираясь на личное влияние, имел дело непосредственно с императрицей помимо ее канцлера. Однако он слишком понадеялся на свои силы и обманывался насчет характера Елизаветы. Портрет дочери Петра I был не раз обрисован, и мы имеем, по всей вероятности, верное понятие о характере этой странной государыни, одновременно беспокойной и

ленивой, любящей веселиться и интересующейся делами; проводящей целые часы за своим туалетом, но заставляющей ожидать неделями и даже месяцами подписи или приказа. В ней уживались самые противоречивые свойства. Это была женщина властная, чувственная, набожная, неверующая и суеверная, поминутно переходившая от излишеств, разрушавших ее здоровье, к религиозной экзальтации, поражавшей ее разум: в наше время мы бы назвали ее истеричной. Барон де Брейтель рассказывает в одной из своих депеш, что в 1760 году ей следовало подписать возобновленный договор, заключенный в 1746 году с венским кабинетом; она уже написала «Ели...», когда на ее перо села оса. Она остановилась и лишь через шесть месяцев dokonчила свою подпись!

Принцесса Цербстская оставила недурное описание ее внешности: «Императрица Елизавета очень высокого роста; отлично сложена. В мое время она уже стала полнеть, и мне всегда казалось, что ее касались слова Сент-Эвремона в описании знаменитой герцогини Мазарини, Гортензии Манчини: „Талия ее тонка в той мере, в какой у другой она была бы красивой“. В то время это к ней относилось в буквальном смысле. Голова безукоризненна; правда, нос менее безупречен, но он на месте. Рот бесподобен; другого такого не сыскать: он полон грации, улыбки и кокетства. Он не умеет гримасничать и слагается только в грациозные складки; и брань из этих уст казалась бы прелестной, если бы они умели ее выговорить. Два ряда жемчужин виднеются меж красных губ, совершенство которых нельзя себе представить, не видев их. Глаза трогательны; да, они на меня производят именно это впечатление! Они кажутся черными, в действительности они голубые. Они внушают кротость, которою проникнуты... Лоб чрезвычайно приятен. Волосы ее растут так правильно, что от одного взмаха гребня искусно и красиво ложатся. У императрицы черные брови и волосы естественного пепельного оттенка. Все ее лицо благородно, походка красива; она грациозна, говорит хорошо, приятным голосом, движения ее решительны. Словом, нет лица, подобного ей! Цвет лица, грудь и руки — невиданные по красоте. Поверьте мне, я знаток и говорю без предубеждения»!

В отношении нравственном желчное перо маркиза Шетарди в то же время противопоставляло этому грациозному видению совершенно иную характеристику. Всем известна история перехваченной переписки

неосторожного дипломата, в которой негодующая государыня прочла самые возмутительные обвинения. В своих мемуарах, являющихся, по всей вероятности, апокрифическими, д'Эон (I, 121—128) приписывает, кроме того, графу Воронцову следующие суждения: «Под личиной добродушия она (Елизавета) обладает тонким, острым умом. Если заранее не застегнуться и не надеть панциря, защищающего от ее взгляда, он проникает под ваше одеяние, раскрывает его, раздевает вас, открывает вашу грудь, и когда вы это заметите, то уже слишком поздно: вы обнажены, эта женщина все прочла внутри вас и обыскала вашу душу... ее чистосердечие и доброта не что иное, как маска! Во Франции, например, и во всей Европе она пользуется репутацией милостивой. Действительно, при восшествии на престол она поклялась святому Николаю Чудотворцу, что в ее царствование никто не будет казнен. Она сдержала свое слово в буквальном его смысле: ни одна голова не была еще отрублена; но зато отрублены две тысячи языков и две тысячи пар ушей... вы, вероятно, знаете историю бедной и интересной Евдокии Лопухиной? Она, может быть, и была виновата перед ее величеством, но главная ее вина заключалась в том, что она была ее соперница и красивее ее. Елизавета велела проколоть ей язык раскаленным железом и дать ей двадцать ударов кнута рукой палача; несчастная была беременна и должна была родить... Вся ее частная жизнь полна таких же противоречий. То безбожная, то набожная, неверующая до атеизма, ханжа и суеверная, она проводит целые часы на коленях перед иконой Богоматери, разговаривая с ней и страстно вопрошая ее, в какой гвардейской роте ей надлежит взять любовника... Я забыл еще одно обстоятельство... Ее величество питает сильное пристрастие к спиртным напиткам. Случается, что под их влиянием она теряет сознание. Тогда приходится разрезать ее платья и корсет. Она бьет слуг и служанок...»

Можно себе представить, с какими трудностями приходилось сталкиваться Шетарди, имея дело с государыней подобного странного характера, и на какой скользкий путь встала принцесса Цербстская. Она сделалась его сообщницей и в конце концов возложила на него все свои надежды. Мардефельд от нее отошел, Брюммер мало-помалу уклонился, а Лесток лавировал, повинаясь своему верному инстинкту. Из Версаля маркизу советовали быть осторожнее. Наконец ему властно приказано не делать признание императорского титула предметом столь

сомнительного торга, так как само по себе это обстоятельство неважно. «Король — император Франции»,— писали ему. Благоразумнее «оказать любезность» царице, показав ей письмо короля. Может быть, она вследствие этого и заставит своего министра заключить столь желанный союз. Шетарди готов повиноваться, но ему предстояло одолеть еще одно препятствие: надо по крайней мере на четверть часа «удержать внимание» государыни, и это ему не удавалось.

Между тем Бестужев готовил свой удар. С помощью чиновника Иностранной коллегии Гольдбаха, опять-таки немца, а может быть, и еврея, специалиста по чтению шифров, он перехватывал и перлюстрировал всю переписку французского посланника и наконец представил ее императрице, отметив места, относившиеся до нее лично. Де ла Шетарди жаловался на лень, легкомыслие государыни, на ее ужасную жажду удовольствий и кокетство, заставляющее ее менять туалеты четыре-пять раз в день. Можно себе представить гнев Елизаветы! Последствия его известны. Шетарди упорно не представлял своих верительных грамот, и потому его пребывание в Петербурге не носило официального характера, он находился в нем как частное лицо. Посредством простой записки из коллегии ему сообщено приказание в двадцать четыре часа покинуть Петербург и Россию. Императрица повелела даже отобрать у него портрет на крышке осыпанной бриллиантами табакерки, пожалованной ему государыней! Табакерку ему оставили.

Не он один оказался замешанным в этом деле. Его депеши открыли императрице глаза на участие принцессы Цербстской в неудавшейся интриге. Она оказалась в роли шпиона Пруссии и Франции при русском дворе, давала советы Шетарди и Мардефельду, тайно переписывалась с Фридрихом. Вот что означала загадочная сцена в Троицкой лавре!

Принцесса Цербстская отделалась испугом, горькими истинами, которые ей пришлось выслушать от Елизаветы, и безвозвратной потерей не только того влияния, которое она мечтала приобрести при дворе,— тайные пружины его она только начинала постигать,— но и того, на которое имела право рассчитывать. «Имя принцессы Цербстской,— пишет год спустя преемник Шетарди д'Альон,— часто встречалось в перехваченных письмах маркиза де ла Шетарди. С тех пор императрица чувствует к ней сильную неприязнь... Для нее лучше всего было бы вернуться в Германию». Та так и сделала, но прежде ей



удалось присутствовать при единственной победе, на которую она могла рассчитывать под этим небом, ставшим для нее столь немилостивым,— и той именно, которую она упустила из виду и чуть не погубила.

## VI

Репутация Фигхен вышла незапятнанной из этого кризиса. Наоборот, с этой минуты победа ее не подлежит сомнению и брак с великим князем становится делом окончательно решенным, как будто ее невинность заставила ее противников и политических врагов сложить оружие. Оставалось решить еще один щекотливый вопрос — о торжественном принятии принцессы Софии в лоно православной церкви. Принцесса Цербстская последовала по мере возможности советам мужа. Она употребила все усилия, чтобы отстоять свою веру и веру дочери. Она даже осведомилась, не может ли прецедент супруги царевича Алексея, оставшейся лютеранкой, послужить в пользу Фигхен. Но все ее попытки в этом направлении остались бесплодными. Она, однако, скрасила свое сообщение об этом набожному Христиану Августу некоторыми утешительными рассуждениями. Она просмотрела с Симеоном Тодорским весь православный обряд веры, тщательно сравнила его с лютеранским вероисповеданием и пришла к убеждению, что между обеими религиями нет коренного различия. Фигхен же еще скорее поняла, что она может спастись и в православной вере. Гейнекций, очевидно, ошибался, а Мефодий во всем сходился с Лютером. Аргументы Симеона Тодорского оказались неопровержимыми. Этот архимандрит был очень ловок. Он много путешествовал и учился в университете в Галле. Христиан Август, однако, поддался не сразу. «Добрый принц Цербстский,— писал впоследствии Фридрих,— упорствовал... На все мои убеждения он отвечал только: „Моя дочь не будет православной”. К счастью, в Берлине нашелся другой Симеон Тодорский. «Один пастор,— пишет Фридрих,— которого мне удалось привлечь на свою сторону... согласился убедить его, что православная вера похожа на лютеранскую. С тех пор он все повторял: „Лютеранско-греческая, греко-лютеранская — это одно и то же”». В июне курьер, отправленный Елизаветой, привез официальное разрешение принца на брак принцессы Софии и на ее

обращение в православную веру. Добрый принц Христиан Август писал, что видит перст Божий (eine Führung Gottes) в обстоятельствах, продиктовавших ему его решение.

Публичное принятие назначено на 28 июня, а обручение — на 29 июня, день святых апостолов Петра и Павла. Близость этого обряда волновала Фигхен. Письма, в большом количестве получаемые от родных из Германии, не способствовали ее успокоению. Можно себе представить, какие обильные и разнородные комментарии вызвала столь неожиданная судьба маленькой принцессы в среде, в которой она жила до тех пор! Общий характер их не был благожелательным. Может быть, к опасениям, внушаемым, по-видимому, лишь нежной заботливостью, примешивалась и некоторая доля зависти. Припоминалась печальная судьба несчастной Шарлотты Брауншвейгской, супруги Алексея, покинутой мужем, забытой царем. Вообще, далекая Россия не сыграла ли роковой роли в истории всей этой немецкой семьи, также думавшей найти в ней прекрасную и великую будущность? Все это изложено в длинных, путаных фразах немецким жаргоном, пестревшим французскими словами, в которых Фигхен подмечала гораздо больше досады, чем искренней тревоги. Но они, однако же, заставляли ее дрожать всякий раз, как она устремляла тревожный взор в загадочное будущее.

Однако никто из придворных, толпившихся 28 июня 1744 года, в девять часов утра, в церкви Головинского дворца, не подозревал состояние ее души. Одетая в платье «adrienne» из алого «gros de Tours», выложенного серебряным галуном, с простой белой лентой в ненапудренных волосах, Фигхен дышала молодостью, красотой и скромностью. Ее голос не дрогнул, память не изменила ей ни на секунду, когда она в присутствии умиленных слушателей произносила по-русски символ своей новой веры. Новгородский архиепископ, тот самый, что был против ее брака, пролил слезы, и все присутствующие сочли своим долгом последовать его примеру. Правда, они плакали и при обращении Петра Ульриха, несмотря на то, что тот гримасничал во время богослужения и глумился над священнослужителями. Умиление, однако, входило в расписание подобных дней. Императрица выразила свое удовольствие тем, что подарила новообращенной аграф и бриллиантовое ожерелье стоимостью 100 тысяч рублей, согласно оценке принцессы Цербстской.